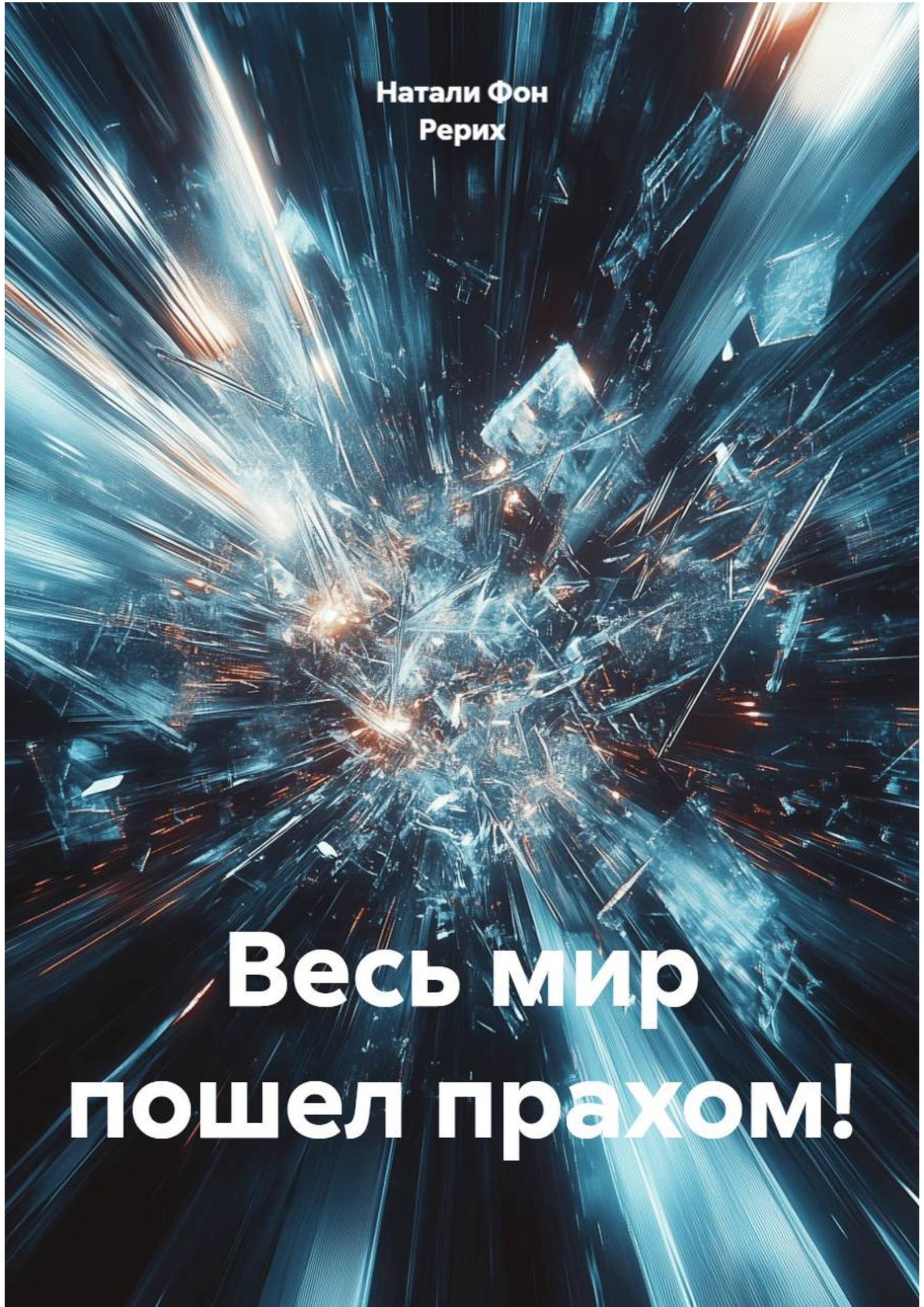




Натали Фон
Рерих

**Весь мир
пошел прахом!**

Натали Фон Рерих

Весь мир пошел прахом!

«Автор»

2026

Фон Рерих Н.

Весь мир пошел прахом! / Н. Фон Рерих — «Автор», 2026

Первая глава романа «Весь мир пошел прахом» знакомит нас с Мариной — женщиной, чья жизнь долгие восемь лет была выстроена вокруг болезни дочери Ирины. Теперь Ирина здорова, вышла замуж и уехала, и Марина остаётся в опустевшей квартире наедине с тишиной, которая не имеет конца. Глава — это пронзительный внутренний монолог героини: она методично перебирает предметы и воспоминания, пытаясь осознать, что осталось от неё самой, когда задача всей её жизни — спасти и оберегать — внезапно закончилась. Оставленная дочерью кружка с рыжим котом, сломанная ветвь тополя за окном, незаполненная анкета на сайте знакомств — всё это становится символами её потери и поиска. Марина не плачет, но внутри неё тихо и некрасиво злится что-то, чему она не может дать имя. Глава задаёт тон всему произведению: это психологическая проза о выздоровлении, которое оборачивается пустотой, о любви, которая стала ролью, и о том, как трудно вернуть себя, когда ты так долго была только матерью.

© Фон Рерих Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	12
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Натали Фон Рерих

Весь мир пошел прахом!

Глава 1

Глава 1. После того, как ушла Лифт спустился, и стало тихо. Не сразу — сначала был металлический лязг дверей, потом гудение кабины уходящей вниз, потом шаги по асфальту внизу — она слышала их сквозь закрытое окно, или ей казалось, что слышала, — потом звук машины. Антон завёл двигатель с первого раза, что почему-то Марина отметила. Потом ничего. Она стояла у двери, положив ладонь на замок, но не потому что хотела открыть — просто не успела убрать руку. Два часа они таскали коробки, и она помогала, говорила что-то про пузырчатую плёнку, которой не хватило, и про то, что книги лучше укладывать корешками вверх. Ирина кивала. Антон молчал с видом человека, который уже всё решил и просто выполняет последовательность действий. Марина не плакала. Это было важно. Она твёрдо решила это ещё утром, когда резала хлеб и думала о том, что надо держаться, — и держалась, и в этом была своя механическая гордость. Она убрала руку от замка и пошла на кухню. Чайник был синий, электрический, со сколом на крышке — она собиралась купить новый уже полтора года. Нажала кнопку автоматически, как нажимала её восемь лет каждое утро, прежде чем идти будить Ирину. Сначала чайник, потом Ирина. Это был порядок. Пока грелась вода, можно было достать таблетки, выложить на блюдечко, налить стакан воды комнатной температуры — не холодной, Ирина плохо глотала холодное с утра. Потом чай. Потом завтрак. Потом температура — тридцать семь и одна была нормой, тридцать семь и пять уже требовала решения, тридцать восемь — звонка врачу. Три года в ремиссии, и Марина до сих пор каждое утро думала про тридцать семь и одну. Чайник загудел, набирая силу. Марина прислонилась к столешнице и увидела кружку. Белая, с нарисованным котом — рыжим, с зелёными глазами и глуповатой улыбкой. Ирина привезла её откуда-то два года назад, из поездки с однокурсниками. Марина терпеть не могла котов. Кошек тоже. Что-то в этой их демонстративной независимости всегда казалось ей позой. Она никогда не говорила этого вслух — зачем, Ирина любила их с той детской серьёзностью, с которой некоторые люди любят животных всю жизнь. Кружка стояла на столе, не в шкафу. Отдельно от остального. Марина взяла её в руки. Фарфор был прохладным. Рыжий кот смотрел снизу вверх со своей нарисованной улыбкой, и в этом было что-то невыносимо простодушное. Она не понимала, зачем держит её. Просто держала. Может, Ирина забыла. Может, специально оставила — для чего-то, что Марина должна была понять, но не поняла. Но ведь Ирина знала, что мать не любит котов. И всё равно. Это было что-то её собственное, что никак не вписывалось в нейтральные бульоны и правильную температуру воды — что-то выбранное без оглядки, просто потому что хотелось. Марина поставила кружку обратно. Потом снова взяла. Внутри что-то начало перечислять. Тихо, без паники, почти методично — так, как она умела, когда нужно было не думать о плохом, а думать о конкретном. Больше не нужно помнить про препараты. Про второй приём в час дня. Про то, что копаксон надо хранить в холодильнике, но за двадцать минут до укола достать — чтобы не было реакции. Больше не нужно отслеживать, хорошо ли Ирина спала, не было ли онемения в пальцах, не устала ли она больше обычного. Не нужно строить маршрут через клинику на Сущёвской. Не нужно звонить врачу Арсению Павловичу, который всегда отвечал немного позже, чем хотелось бы, но всегда отвечал. Список был длинным. Он занял бы страницу, если бы Марина записывала. Это был список освобождения. Она стояла с кружкой в руках и понимала, что список ощущается как потери. Вот это было стыдно. Это было то, о чём не говорят вслух: что восемь лет жизни выстроились вокруг чужой болезни — и болезнь отступила, и дочь выздоровела, и вышла замуж, и

уехала, и это было хорошо, это было правильно, это было именно то, чего Марина хотела — а внутри что-то тихо и некрасиво злилось. Не на Ирину. На то, что задача кончилась. На то, что три года ремиссии понемногу отнимали у неё то единственное, в чём она точно знала, зачем встаёт утром. Злиться на выздоровление дочери было невозможно. Нельзя. Марина это знала. И всё-таки. Чайник щёлкнул. Она вздрогнула. Заварила чай в кружке с котом. Первый раз в жизни — всегда пила из своей, бежевой, без рисунка. Это ничего не значило. Просто ближайшая. Просто так получилось. Взяла кружку — она была горячей, почти жгла пальцы — и пошла к окну. На улице был март, мокрый и бессмысленный. Двор с детской площадкой, горка из которой облезла краска: под ней проглядывал ржавый металл — рыжий, как нарисованный кот. Тополь у угла дома. Прошлой осенью ему снесло ветку — большую, почти треть кроны, — и теперь дерево выглядело несимметрично, будто кто-то отрезал то, что мешало, не подумав, как это будет смотреться потом. Марина сделала глоток. Чай был слишком крепкий — она всегда заваривала Ирине слабее. Тишина в квартире была не та, что бывает ночью или в воскресное утро, когда Ирина ещё спит. Та тишина была временной, она имела конец — скрип кровати, звук воды в ванной. Эта была другой. У этой не было конца, который она могла бы назвать. Марина стояла у окна с кружкой в руках и смотрела на тополь. Он, наверное, вырастет ещё. Деревья не перестают расти от того, что им сломало ветку. Просто теперь он будет расти иначе, не симметрично, как было задумано. Она допила чай, уже тёплый. * * * Она не убирала. Это было само по себе странно — Марина всегда убирала сразу, не давая беспорядку осесть. Но сейчас она просто ходила по квартире с пустой кружкой в руке, останавливалась, смотрела. Будто составляла опись. Будто кто-то попросил её засвидетельствовать. Диван в комнате Ирины сохранил вмятину там, где та всегда сидела — не посередине, а ближе к левому подлокотнику, поджав ноги. Марина потрогала обивку ладонью. Поролон уже восстанавливался. К утру выровняется. У кровати, на уровне плеча, на обоях было пятно — небольшое, желтоватое, от крема или от чего-то ещё. Появилось, наверное, года два назад, Марина несколько раз собиралась оттереть и каждый раз не оттирала. Откладывала. Почему откладывала — не знала. Может, потому что след чьего-то живого присутствия сложно стереть без ощущения, что делаешь что-то не то. На подоконнике лежала стопка книг. Четыре, кажется. Ирина забрала три коробки — брала то, что читала сейчас или собиралась; эти остались, значит, уже прочитаны или откладывались на потом, которое переехало вместе с ней. Марина не стала смотреть названия. Взяла стопку двумя руками, поставила на полку. Просто переложила, никуда. Поставила. Посмотрела на полку. Восемь лет назад она приехала в Мытищи с двумя чемоданами и дочерью, которая сидела на заднем сиденье маршрутки и смотрела в окно — молча, без вопросов. Ирине тогда было двенадцать. Год после диагноза, первые препараты, первая ремиссия, которая ещё не была уверенной. Мытищи возникли не из желания, не из расчёта в обычном смысле — из списка. Нужна была клиника с нужным неврологом. Нужна была школа, где был лифт и где директор не делала лишних вопросительных пауз при слове «рассеянный». Нужен был маршрут, который можно было пройти пешком в плохой день. Мытищи подходили. Вот и всё. Марина помнила, как несла коробки по лестнице в три захода — лифт тогда не работал, и она не стала ждать. Ирина поднялась с ней один раз, потом сказала, что устала, и осталась в квартире. Когда Марина занесла последнюю коробку, Ирина сидела на подоконнике в пустой комнате и смотрела на двор. Горка была тогда ещё крашеная — ярко-синяя, почти неправдоподобно. Тополь стоял симметричный. Ирина спросила: «Мы долго здесь будем?» Марина сказала: не знаю, посмотрим. Имея в виду — нет, не долго. Восемь лет. Она вернулась на кухню, поставила кружку на стол. Апрель в окне — нет, март, всё ещё март, она иногда путала, — был белым от неба без солнца. Двор внизу казался тихим, хотя там наверняка что-то происходило, просто она не слышала сквозь стекло. Восемь лет, и она ни разу не задала себе вопрос, который сейчас формулировался в голове с неловкостью нечто долго молчавшего: а что, собственно, хотела она? Не Ирина. Она. Вопрос был почти смешной своей очевидностью и почти невозмож-

ным — потому что восемь лет ответ на него был встроен в другой вопрос: что нужно Ирине? Какой врач, какая дозировка, какая школа, какой маршрут, какой режим. Марина умела отвечать на этот вопрос. Она умела его чувствовать раньше, чем он успевал оформиться в слова. У неё был, наверное, особый орган восприятия — не слух, не зрение, а что-то, настроенное на частоту дочери. Теперь этот орган работал вхолостую. Она попробовала вспомнить хотя бы одно решение за восемь лет, принятое ради себя. Не ради лечения. Не ради стабильности. Просто — ради себя. Вспоминалось с трудом. Может, та кофточка — светло-зелёная, ненужная, она её ни разу не надела. Может, вечерние курсы по трудовому праву два года назад, которые оказались полезны для работы. Не считается. Это не было жалобой. Не было обвинением — ни Ирине, ни себе. Просто факт, который вдруг стал виден, как бывает видна царапина на стекле, только когда свет падает под определённым углом. Восемь лет она была внутри задачи. Задача кончилась. И теперь она стояла на кухне и смотрела на тополь со сломанной ветвью и не знала, что делать с пространством, которое образовалось. Нет. Не так. Внутри что-то не называлось словом «не знаю». Называлось злостью — тихой, некрасивой, какой не должно было быть. Не на Ирину. Ирина была ни при чём. Злость была на что-то безымянное: на болезнь, которая выстроила жизнь по своим законам, на годы, которые прошли как один длинный план лечения, на то — и вот это было самое стыдное, настолько стыдное, что Марина почти сразу отвернулась от этой мысли, — на то, что ремиссия, три года хорошей ремиссии, выздоровление, которого она так ждала, оказалось концом не только болезни, но и её, Марины, смысла. Дочь выздоровела. Дочь вышла замуж. Дочь уехала. И это было правильно. Это было именно то, что должно было случиться. Это было хорошо. Злиться на это было невозможно. Марина взяла книги с полки — те четыре — и переставила обратно на подоконник. Потом снова на полку. Бессмысленное движение, она это понимала. Просто рукам нужно было что-то делать, пока голова занималась тем, чем не следовало. Она поправила стопку. Выровняла корешки. За окном тополь стоял со своей отсутствующей ветвью — несимметричный, не такой, каким его, наверное, замыслили. Но стоял. * * * Кружка стояла на столе. Марина смотрела на неё уже минуты три — или пять, или десять, время здесь вело себя странно, тянулось и одновременно куда-то проваливалось, — и не могла понять, почему не убирает. Просто поставить в раковину. Одно движение. Кружка была глупая. Белая, с толстыми боками, и на ней нарисован кот — рыжий, в синих штанах, с выражением крайнего недовольства. Марина терпеть не могла такие кружки. Она вообще не любила котов на посуде, не любила антропоморфных животных в одежде, не понимала этой эстетики — никогда не понимала. Кружку купила Ирина. Три года назад, или четыре, в каком-то переходе, за сто рублей, хохоча над чем-то, что Марина уже не помнила. Сегодня утром Ирина пила из неё чай. --- Антон ждал внизу. Он позвонил в половине восьмого — машина у подъезда, всё готово. Марина слышала его голос из коридора: ровный, нейтральный, конкретный. Голос человека, у которого есть план. Она тогда подумала: хорошо. Значит, есть кому выстроить план. Ирина сидела на кухне в куртке уже застёгнутой, с рюкзаком у ног — сидела и держала обеими руками эту кружку с котом. Пила чай маленькими глотками, не торопясь, как будто никакой машины внизу не было. Куртка была та, синяя, из прошлой зимы, немного короткая в рукавах. Марина стояла у плиты и смотрела на неё — на дочь, которая пила чай из дурацкой кружки, — и не спрашивала. Ни про кружку, ни про что другое. Просто смотрела. Запоминала. Синие рукава, короткие. Рюкзак у ног. Пар над кружкой. Тогда она не думала про кружку. Тогда она думала: вот сейчас. Вот сейчас это происходит. Теперь она думала про кружку. Ирина не любила котов. Это было точно, Марина помнила — однажды соседка предложила взять котёнка, и Ирина сказала: не надо, мам, я к ним равнодушна. Но кружку купила. И пила из неё, и хохотала над чем-то в переходе, и взяла её сегодня утром — в последнее утро — и держала обеими руками. Может быть, именно поэтому. Может быть, ей нужно было что-то своё — не нейтральное, не правильное, не то, что выбирают из соображений удобства или здоровья или «чтобы не раздражало». Просто что-то нелепое, рыжее, в

синих штанах, купленное в переходе без всякой причины. Марина убирала кружки с отколо-
тыми краями. Следила, чтобы посуда была целая. Это казалось правильным — осколки режут,
зачем держать то, что режет.---Ирина не плакала. Марина тогда отметила это — отметила с
чем-то похожим на одобрение, или на облегчение, или на гордость, она точно не понимала.
Держится. Молодец. Взрослая. Теперь она стояла у стола и думала: нет. Не «держится». Что-то
другое. Ирина знала. Знала — если она заплачет, заплачет Марина, и тогда всё это превратится
во что-то, из чего нельзя будет просто выйти и сесть в машину к Антону. Ирина знала, что
такое — видеть, как плачет мать. Знала это не умом, а каждой клеткой — восемь лет рядом,
восемь лет под одной крышей, восемь лет этого негромкого знания друг о друге. Она держала
их обеих. Не потому что была сильной. Потому что понимала: если она выпустит — Марина
утонет. И тогда не уедешь. Останешься. А если останешься, то... Марина не стала додумывать
это «то», потому что оно становилось слишком большим. Она просто стояла и пила чай. Обе-
ими руками держала кружку с котом.--- Мам, ты позвони, если что. Не «я позвоню». Не
«я буду звонить». Ты позвони. Марина кивнула. Конечно. Да. Она кивала и уже знала, что не
позвонит. Не потому что не захочет — а потому что механизм этот, позвони-кому-нибудь,
давно заржавел и не поворачивался. Она не умела начинать с этого: «мне плохо, помоги».
Никогда не умела. Есть люди, которые умеют — Марина наблюдала их со стороны и не могла
понять, как именно они это делают, каким голосом произносят эту фразу, как у них не пере-
хватывает горло от одной мысли, что кто-то услышит и придётся объяснять. «Ты позвони» —
это была не просьба. Это было знание. Ирина знала, что мать не позвонит, и всё равно сказала
— чтобы оставить дверь. Они обе знали про эту дверь. И обе знали, что Марина возле неё про-
сто постоит снаружи.---Мысль появилась не вдруг — она нарастала медленно, с того момента,
как Марина начала думать про кружку, и теперь стояла посередине, не уходила. Марина не
хотела её думать. Она была некрасивой, эта мысль, — из тех, которые не следует. Может быть,
Ирина уехала не только к Антону. Марина вернулась к плите. Постояла. Пошла к окну. Тополь
стоял на том же месте со своей сломанной ветвью, дожди последних дней сделали его темнее,
почти чёрным у основания. Она знала, чего хочет Ирина. Она всегда это знала — раньше слов,
раньше, чем Ирина успевала додумать до конца. Какой врач. Какое лекарство. Какой режим
дня. Какая температура в комнате, какой бульон, какой угол наклона подушки, потому что
при обострении важно. Она знала. Она спрашивала себя об этом каждый день, несколько раз
в день, и отвечала. Только одного вопроса не было. Чего хочет Ирина — не в смысле «какое
лекарство». Чего она хочет — сама, от себя, от жизни, от дня, который не расписан по часам
лечения. Что ей нравится. Что её смешит по-настоящему, не в момент, когда мать рядом и
надо держаться. Зачем она купила кружку с рыжим котом в синих штанах и хохотала в пере-
ходе. Марина не спрашивала. Она знала. Это разные вещи — и она только сейчас, стоя у окна с
тополем, начинала понимать, насколько. Может быть, восемь лет рядом — это было как чужой
воздух. Дышишь. Но он не твой. И Ирина дышала им, и держалась, и не плакала, и говорила
«ты позвони», — и уехала к Антону с синим рюкзаком у ног. А кружку оставила.---Марина
вернулась к столу. Посмотрела на кота в синих штанах — тот смотрел обратно с выражением
крайнего недовольства, как будто тоже что-то знал. Она не убрала кружку в раковину. Просто
отошла. * * * Диван просел в том же месте, где всегда сидела Ирина, — чуть правее, ближе к
подлокотнику. Марина опустилась рядом с этой вмятиной, не на неё, и посмотрела на свои
руки, лежащие на коленях. Руки были обычными. Немного сухими — крем она покупала и не
пользовалась, это о чём-то говорило, но о чём именно, она не успела додумать. Они дрожали.
Вот чего не видела Ирина: что у неё тряслись руки. В больнице, в феврале. Она убирала их
под одеяло, когда медсестра входила делать капельницу, и ждала, пока та уйдёт, — и только
потом доставала обратно и смотрела на них, как сейчас. Пыталась понять, когда это прекра-
тится. Субфебрилитет три недели она держала при себе. Тридцать семь и два — это немного,
это можно пережить, это не повод. Она ходила на работу, прикладывала холодный компресс

к вискам по вечерам и думала, что скоро пройдёт. Ирина тогда была в ремиссии — три года к тому времени, лучший период за восемь лет — и жила дома, и о чём-то своём думала за ужином, о чём-то, чего не рассказывала. Марина не спрашивала: видела, что дочери нужна тишина. Берегла её от лишнего. Не говорила, как плохо. Потом температура прыгнула до тридцати восьми пяти, и в пятницу утром она позвонила на работу, сказала что-то невнятное про грипп, написала Ирине, что уходит пораньше спать, — и к вечеру не могла встать. Скорая приехала в десять. Она сама её вызвала. В палате было четыре кровати. Напротив лежала женщина лет семидесяти, которая разговаривала по телефону тихим, но отчётливым голосом — с сыном, с невесткой, снова с сыном. Слева курсировали родственники с пакетами из «Магнита»: апельсины, йогурт, домашние котлеты в контейнере. Марина смотрела в потолок и слушала чужие разговоры, как слушают радио в другой комнате — не вникая, но и не уходя. Позвонить было некому. Это она поняла не в момент кризиса, не как открытие — а как факт, который уже давно существовал и которому она просто не смотрела прямо в лицо. Люди были. Коллеги, соседка Зинаида Петровна с пятого этажа, пара подруг молодости, с которыми переписывались раз в год на день рождения. Но позвонить — это другое. Позвонить значит сказать голосом: мне плохо, я лежу, я не знаю, что будет дальше. Произнести это вслух в чью-то сторону — как впустить кого-то туда, куда она давно не выпускала никого, и она не знала, открывается ли ещё эта дверь изнутри. Ирине она не позвонила. Написала на третий день — коротко, уже из режима «всё в порядке»: лежу с температурой, капельница, скоро домой. Ирина ответила: «Мам, почему не сказала, я бы приехала». Марина написала: «Незачем было», — и это было правдой, и ложью одновременно, и она не стала разбираться, где кончается одно и начинается другое. Меняться ролями она не умела. Это тоже было правдой. Была одна мысль — она пришла на вторую ночь, часа в три, когда женщина напротив наконец перестала звонить и в палате установилась почти настоящая тишина. Не «мне страшно умирать». Не «я хочу домой». Просто: если умру — Ирина будет одна. Мысль была плоской и конкретной, как список дел. Что нужно успеть сделать, чтобы Ирина не осталась без ничего. Есть ли завешание — нет. Знает ли Ирина, где деньги, какие счета, что с работой. Всё это прокручивалось методично, пока капельница капала в полутьме. О себе — что будет с ней самой — она думала меньше. Это дошло до неё сейчас, на диване, в тишине пустой квартиры. Что тогда, в три часа ночи, в больничной палате, умирая или не умирая — она думала об Ирине. Что Ирина будет без неё. Не что она будет без Ирины. Не что ей страшно. Не что ей жалко себя, свою жизнь, свои годы, стихи, которые никто не читал, песни, которые она пела тихо и только когда была точно одна. Даже умирая, она была не собой. Она была матерью. Сейчас Марина посмотрела в окно. Тополь. Сломанная ветвь. Небо было белёсым, без выражения. А что, если бы умерла я. Мысль была тихой. Не риторической и не страшной — просто вопросом, который она ни разу не задавала, потому что привыкла не ставить себя в центр даже собственных катастроф. Кто бы горевал — не из долга. Не потому что так положено, не потому что она хороший человек и правильная женщина, не потому что мать Ирины и нельзя не горевать. А просто — потому что её не стало бы. Потому что она была, и была именно такой, и теперь нет. Кто бы заметил пустоту именно её формы — не роли, не функции, а именно её. Марина не ответила на этот вопрос. Она не была уверена, что знает ответ. И это было, пожалуй, самым холодным из всего, что она думала в этот день. Руки на коленях лежали смирно. Не тряслись. Из кухни — ни звука. Кот в синих штанах на подоконнике смотрел в стену. * * * Около восьми она всё же открыла ноутбук. Хотела проверить почту — пришёл ли ответ от клиента, который тянул с документами уже вторую неделю. Иван Сергеевич Лопатин, земельный спор в Королёве, три смежных участка и два брата, которые не разговаривали друг с другом лет двадцать. Привычная работа. Понятная работа. Работа, где есть правила и можно выиграть, если знаешь правила лучше другого. Но прежде чем открыть почту, она увидела вкладку. Она не закрыла её три дня назад — просто свернула ноутбук. Теперь вкладка висела там, второй слева, с маленьким сердечком в favicon,

которое казалось одновременно трогательным и неловким, как валентинка в корпоративной рассылке. Марина помедлила секунду — ровно столько, сколько нужно, чтобы сказать себе, что это случайно, — и нажала на неё. Анкета. Фотография: не загружена. В этом месте была серая рамка с силуэтом — человек без лица, в духе криминальной хроники. Возраст: 50. Город: Мытищи. Семейное положение: разведена. Всё это она заполнила три дня назад быстро, почти не думая — эти вещи она знала о себе, они были как паспортные данные, не требовали усилий. А потом было поле. «О себе». Курсор в нём мигал. Методично, без спешки, как человек, которому некуда торопиться и который намерен ждать столько, сколько потребуется. Марина смотрела на него. Ну, сказала она себе. Пиши. Юрист. Сразу остановилась. Это для резюме, а резюме она и так умеет писать. Мама взрослой дочери. Тоже нет. Ирина теперь сама мама — ну или будет, когда придёт время, — а эта формула звучала так, будто Марина определяет себя через чужую жизнь. Что, в общем, было правдой, но правду такого рода не пишут в анкетах на сайтах знакомств. Наверное. Люблю читать. Она напечатала это, посмотрела и удалила. Кто не любит читать? Что это вообще значит? Это такая же информация, как «дышу воздухом» или «предпочитаю горизонтальное положение вертикальному». Все любят читать, или говорят, что любят, или имеют в виду что-то разное под словом «читать» — кто детективы в метро, кто Толстого по диагонали раз в десять лет, кто новостную ленту в ноль часов сорок минут, когда не спится. Ищу серьёзные отношения. Это она даже печатать не стала. Звучало как объявление: продаётся однокомнатная, состояние хорошее, собственник. Торг уместен. Марина откинулась на спинку дивана и некоторое время смотрела в потолок. Она пишет стихи. Это было правдой — писала, последние лет пятнадцать, в тетради с мягкой обложкой, которую держала на верхней полке, за словарями. Никому не показывала. Даже Ирине не показывала — особенно Ирине, наверное, потому что Ирина бы отнеслась серьёзно, читала бы внимательно, говорила бы что-то хорошее, и это было бы невыносимо. Лучше, когда никто не знает. Тогда оно твоё и только твоё, и никто не может сказать, хорошо это или нет, и ты сама не обязана решать. Она поёт. Тоже правда. На кухне, когда варит что-нибудь долгое. Тихо, почти беззвучно, больше выдыхает, чем поёт. Прежде всего — Окуджаву. Иногда что-то из семидесятых, то, что слышала в детстве и запомнила навсегда, не понимая зачем. Знает наизусть «Реквием» Ахматовой. Выучила в двадцать три года, после первого развода, ночью на кухне, сидя на полу с томиком в руках, и с тех пор он никуда не ушёл, просто осел где-то глубоко, как осадок. Умеет делать пельмени с нуля — и тесто, и фарш, и это занимает три часа и требует определённого настроения, которое бывает редко, но когда есть — она делает их по двести штук и половину замораживает. Боится высоты. Не боится темноты. Не боится пауков, хотя все вокруг почему-то уверены, что должна бояться. Боится — это другое. Боится оказаться ненужной. Боится, что однажды поймёт: жизнь прошла мимо, пока она смотрела в другую сторону. Боится, что это уже случилось. Всё это — правда о ней. Всё это — она. Ни одно из этого не помещалось в поле. Не потому что поле маленькое, хотя оно, конечно, и маленькое тоже. А потому что всё это требовало объяснений. Или наоборот — не требовало объяснений совсем, а просто было, как факт, как воздух, как тополь за окном, — и объяснять это значило превратить в нечто другое, меньше и точнее, и в результате менее настоящее. Как написать в анкете на сайте знакомств, что ты знаешь наизусть «Реквием» и иногда думаешь о нём в три часа ночи? Написать — и получить в ответ что? Человека, который решит, что ты «интеллигентная». Или мрачная. Или «не для меня». Или, что хуже всего, такого, кто тоже напишет: «Ахматова, да, да, конечно» — и ты никогда не узнаешь, читал ли он хоть строчку. Марина посмотрела на курсор. Тот мигал. Она закрыла ноутбук. Не с раздражением — просто закрыла, аккуратно, двумя руками, как закрывают книгу, в которой потеряли страницу. Завтра. Или послезавтра. Или когда придёт в голову что-нибудь, что одновременно правда и достаточно мало, чтобы поместиться. За окном — тополь. Фонарь на столбе уже горел, хотя было ещё не совсем темно, просто небо сделалось тем невнятным цветом, который бывает в конце сентября: не серое и не

синее, а что-то среднее, без названия. Сломанная ветвь тополя покачивалась — не от ветра, просто сама по себе, от собственной тяжести. Марина смотрела на неё. Может, завтра, подумала она снова. Завтра придумается. Или придёт что-то — случится что-нибудь, что даст слова. Жизнь иногда так устроена, что слова приходят потом, когда уже не ищешь. Она в это не очень верила. Но идея была утешительная, и она позволила ей постоять.

Глава 2

Чай она заварила слишком крепким.

Это обнаружилось только когда она уже сидела с чашкой за столом, ноутбук открыт, экран — белый, анкета на том же месте, где оставила вчера. Чай был почти чёрным, с горьковатым привкусом, который появляется, если пакетик забыть в кипятке лишние три минуты. Марина подумала, что надо встать и долить воды, и не встала.

За окном уже светло — не утренне светло, с розоватым краем и тишиной, а просто дневно светло, как бывает в ноябре: без перехода, без события, будто свет включили в коридоре. Половина одиннадцатого. Она проспала дольше обычного и ничего не почувствовала по этому поводу — ни вины, ни удовлетворения. Просто было половина одиннадцатого.

Поле «о себе» по-прежнему пустое.

Курсор в нём мигал — значит, мигает и в спящем режиме, вопрос снят. Небольшое открытие для утра вторника.

Марина отпила горький чай и посмотрела на экран. Потом — мимо экрана, в стену, где обои чуть отошли у плинтуса. Она знала этот угол наизусть: три года назад клеила сама, торопилась, и вот теперь угол. Можно было переклеить. Не переклеила.

Она кликнула не на поле «о себе». Кликнула на «возраст».

Там стояло: 50.

Два знака, и оба совершенно спокойны. Никакой паники, никакого восклицательного знака — просто цифры, как в накладной. Марина смотрела на них с тем же чувством, с каким иногда смотришь на своё отражение в чужом зеркале — немного не под тем углом, немного не тот свет, и думаешь: это точно я? Это точно в данном случае было она. Можно было написать сорок девять — предыдущий год, формально прошедший, но сидящий ещё где-то в ощущениях, как непереваренный. Но нет, поле проверяло через дату рождения и врать ему было некуда.

Пятьдесят.

Она вспомнила, как в детстве думала про пятидесятилетних: это люди, у которых уже всё. Не в смысле всё плохо — просто всё уже есть, всё случилось, хорошее и плохое, и теперь они просто живут с тем, что накопили. Дом, муж, внуки на горизонте. Мудрость, которая, по всей видимости, поступает автоматически — как пенсионное удостоверение, только раньше.

Мудрость не поступила.

Дома нет — есть съёмная квартира в Мытищах, где обои отошли в углу. Мужа нет. Ирина вчера, по всей видимости, разбирала коробки в новой жизни и ела что-нибудь из пакета, потому что посуда ещё не распакована. Внуки — где-то в очень отдалённом теоретическом будущем. Пятьдесят лет — и она сидит в халате с горьким чаем перед анкетой на сайте знакомств с пустым полем «о себе».

Марина подумала, что, наверное, где-то в этом есть своеобразная честность.

Восемь лет ушли ровно. Она переехала сюда с Ириной, когда Ирине было двенадцать и только поставили диагноз — не сразу поставили, сначала месяц хождений по врачам, которые говорили «переутомление», «посмотрим», «возможно, это просто», — и когда наконец сказали точное слово, Марина почувствовала что-то похожее на облегчение: хотя бы понятно, с чем. С непонятным она не умела. С понятным — умела. Она организовала жизнь вокруг понятного: невролог, препараты, режим, школа с пониманием, потом колледж, потом работа. Восемь лет как логистика. Как очень сложное расписание, которое она составляла и выполняла.

Где в этом расписании была она сама — вопрос, который она не задавала, потому что бессмысленный вопрос. Расписание не спрашивает, где ты. Расписание просто следующий пункт.

А потом болезнь — уже её собственная, не Ирина. Температура тридцать семь и два, которая не уходила месяц, потом полтора, потом госпитализация, потом слово «вероятно, аутоиммунное», потом постепенное возвращение в норму. Она лежала в больничной палате с соседкой, которая смотрела сериалы без наушников, и думала: вот так выглядит человек, у которого нет никаких дел. Странное ощущение. Почти освобождение. Почти стыдное.

Пятьдесят лет — это когда перестаёшь думать «сколько ещё впереди» и начинаешь думать «сколько уже позади». Не потому что стало страшно, а просто потому что позади теперь больше, и там интереснее — там уже всё произошло, там уже понятно, чем кончилось.

Чем кончилось: вот этим утром, вот этой анкетой, вот этим горьким чаем.

Марина закрыла поле «возраст» и зачем-то открыла раздел «другие анкеты» — кнопка была справа, маленькая, почти незаметная. Система предлагала «похожих пользователей» — она не спрашивала, по каким критериям считается похожей.

Женщины примерно её возраста. Фотографии в кафе с чашкой капучино, фотографии на природе с прищуренным взглядом против солнца, фотографии в красивых пальто на фоне осенних листьев. Улыбки — правильные, не слишком широкие, приглашающие, но сдержанные. Под фотографиями: «ищу серьёзные отношения», «люблю путешествовать», «хочу найти своего человека», «открыта к новому».

Марина читала и чувствовала что-то похожее на то, как стоишь в очереди в поликлинике и понимаешь, что пришла не в тот кабинет — все вокруг знают, что делают, у всех в руках нужные бумаги, а ты стоишь с чем-то не тем и сейчас это обнаружится.

«Открыта к новому».

Она сама к новому открыта? Марина подумала честно. Восемь лет логистики — это не то состояние, из которого выходишь открытой. Из него выходишь в основном усталой и с привычкой проверять, выключен ли газ. Но она же открыла ноутбук. Она же сидит здесь с этим горьким чаем. Может быть, это и есть «открыта к новому» — в её, конкретной, редакции: без капучино в кафе и без осенних листьев, просто с фактом, что открыла ноутбук и не закрыла.

На одной из фотографий женщина смеялась — по-настоящему, запрокинув голову, зубы все видны. Марина посмотрела на неё дольше, чем на других. Подумала: интересно, она такая на самом деле, или это был хороший момент среди обычных, которые никто не фотографирует.

Потом закрыла вкладку с чужими анкетами.

Вернулась к своей.

Поле «возраст»: 50. Это единственное поле, которое она не могла изменить, уточнить, смягчить или переформулировать. Пятьдесят — и точка, без контекста, без объяснений, без восьми лет в Мытищах и без болезни, которая была как пауза в тексте — ни слова, просто пустое место, которое тем не менее что-то значит.

Всё остальное можно было написать как угодно. «Юрист» — звучит нейтрально. «Есть дочь» — можно написать или не написать, как удобнее. «Пишу стихи» — можно и не упоминать, кому это важно. «Пою» — тем более.

Но возраст стоял как вкопанный.

Марина посмотрела на него ещё секунду. Потом взяла чашку, сделала большой глоток горького чая, и цифра на экране не изменилась — конечно, не изменилась, цифры не меняются от того, что на них смотришь или отворачиваешься. Это их отличительная черта. В некотором смысле — даже достоинство.

Она поставила чашку обратно. Перевела курсор на поле «о себе» — оно всё ещё ждало, всё так же невозможно. Нигде не торопило.

* * *

Поле «дети» ждало ответа.

Марина напечатала: *есть, одна, взрослая*.

Посмотрела на «взрослая». Слово стояло там как лишнее, как та оговорка, которую делаешь и сразу слышишь себя со стороны — ненужное объяснение, которое выдаёт беспокойство. *Взрослая* — значит, не обуза. *Взрослая* — значит, я свободна. *Взрослая* — и вы только посмотрите, как мне от этого хорошо.

Она стёрла.

Осталось: *есть, одна*.

Это звучало как криминальная сводка, но по крайней мере не звучало как оправдание.

Следующее поле было короче: «вредные привычки».

Марина подумала. По-настоящему подумала, без иронии, хотя ирония так и подпирала изнутри. Не курит — бросила одиннадцать лет назад, когда у Ирины начались первые симптомы и надо было быть вменяемой. Не пьёт, то есть пьёт — бокал вина в пятницу под сериал, иногда два, но это же не «вредная привычка», это скорее гигиеническая процедура. Врач бы не согласился, но врач не заполняет эту анкету.

Она напечатала: *нет*.

Смотрела на это «нет» примерно четыре секунды.

Привычка терпеть — считается?

Нет, наверное. Это не вредная привычка в том смысле, в каком их понимают сайты знакомств. Там подразумевается что-то химическое — никотин, алкоголь, может быть азартные игры для полноты картины. Не подразумевается умение молчать, когда надо было бы сказать, и говорить потом себе, что это называется мудрость, а не трусость. Не подразумевается привычка ставить чужие задачи впереди своих до тех пор, пока своих не останется. Эти привычки в анкету не влезают. Они вообще плохо формализуются.

«Нет» осталось.

Поле «образование» Марина заполнила быстро — *высшее юридическое* — и перешла дальше почти без паузы. Это был единственный вопрос, который не требовал работы. Пятнадцать лет практики, сначала в конторе на Большой Якиманке с пыльными жалюзи и директором, убеждённым, что юрист — это такой секретарь с функцией «проверить договор», потом частная практика, потом Мытищи с их документооборотом и клиентами, которые искренне удивлялись, что закон одинаков для всех. В профессии она не сомневалась. Она в профессии умела то, что умела.

Дальше шло поле «интересы / хобби».

Марина остановилась.

Курсор мигал.

Она написала: *читаю*.

Посмотрела. Стёрла.

Конечно, читает — но кто не читает, среди тех, кто заполняет эти анкеты с умным видом? «Читаю» — это не интерес, это как написать «дышу» или «ем тёплое». Это настолько по умолчанию, что даже указывать странно. Хотя, может, и не странно — может, половина людей не читает вообще ничего, кроме телеграм-каналов про правильное питание, и тогда «читаю» — это уже почти заявление о себе.

Она написала: *пою*.

Смотрела на слово.

Оно было правдой. Она пела — не профессионально, не в ансамбле, не на сцене, просто дома, иногда с гитарой, иногда без, чаще всего когда была одна и когда становилось слишком тихо. Пение было способом заполнять тишину, которая иначе начинала звучать сама по себе — не особенно приятно. Но «пою» в анкете звучало как что-то другое. Звучало как приглашение, как намёк на что-то лёгкое и приятное — домашние концерты, душевные вечера, гитара у камина. Камина у неё не было. Вечера были, но не такие.

Она стёрла.

Написала: *стихи*.

И оставила.

Не зная зачем. Просто оставила и не стала думать об этом сверх меры. Может быть, потому что это было точнее всего остального — точнее «читаю», точнее «пою», точнее любого варианта, который она перебрала за последние три минуты. Стихи — это было что-то, что она делала, а не что-то, что с ней просто происходило.

Хотя объяснить это в анкете всё равно было невозможно.

Стихи — не интерес. Интерес — это когда тебе нравится, когда тебе любопытно, когда ты идёшь на выставку или покупаешь книгу по теме. Стихи — это было не то. Это было что-то ближе к физиологии: как некоторые люди не могут заснуть без того, чтобы час не полежать в темноте и не перемолоть в голове весь день. Стихи были её способом заканчивать дни, когда дни заканчивались плохо. Или хорошо — хорошие тоже надо было как-то зафиксировать, чтобы не ушли без следа. Они уходили всё равно, но хотя бы медленнее.

Как это объяснить незнакомцу в анкете — она не знала.

Незнакомец в анкете ждал «интересов». Ему, незнакомцу, нужен был образ жизни, нужна была картинка: с кем он мог бы пойти на джазовый концерт, в кино, в ресторан на Садовом, у кого можно взять книгу и поговорить о книге, кто умеет быть рядом ненапряжно. Ему не нужно было знать, что она пишет в три ночи от руки в блокноте с синей обложкой, когда уже нет никого, кому можно позвонить и сказать вслух то, что надо сказать. Это не та информация, с которой знакомятся. Это та информация, с которой уже живут — если вообще живут.

Стихи осталось стоять в поле «интересы».

Марина посмотрела на экран. Анкета приобретала некоторые черты документа — сухого, юридически безупречного, почти честного. Дети — есть. Вредных привычек — нет. Образование — высшее. Интересы — стихи.

Портрет человека, которого не существует.

Хотя нет — существует. Существует вот здесь, в квартире на третьем этаже, с чашкой чая, которая давно остыла, под окном, за которым тополь со сломанной ветвью стоит ровно так же, как стоял восемь лет назад, когда она въехала с двумя чемоданами и Ириной с температурой тридцать семь и восемь. Существует — просто не знает, как уместиться в поля.

* * *

Поле называлось «о себе».

Марина открыла его снова — точно так же, как закрыла пятнадцать минут назад. Или двадцать. Чай совсем остыл, это был факт.

Она поставила курсор в пустое поле и написала: *Юрист. Живу в Мытищах.*

Посмотрела.

Так начинаются резюме. Или объяснительные записки на работу. Или показания — она их читала достаточно, чтобы знать, что человек в показаниях всегда звучит мёртво, даже живой. Особенно живой.

Она стёрла.

За окном тополь стоял в своей обычной позиции — немного накренившись в сторону двора, со сломанной ветвью, которая держалась на честном слове уже третий год, если не четвёртый. Марина ждала, что она упадёт. Ветвь не падала. Это было каким-то тихим торжеством над обстоятельствами, хотя скорее всего просто ботаника.

Она написала: *Ищу человека, с которым можно молчать без неловкости.*

Посмотрела дольше.

Слишком честно. Это была правда — она действительно искала именно это, молчание без неловкости, паузы без того, чтобы кто-то чувствовал необходимость их заполнить. Но правда в первой строке знакомства — это как прийти на собеседование и сразу сообщить, что вы не любите совещания по понедельникам. Технически — честно. Практически — конец разговора.

Она стёрла и это.

Экран смотрел на неё с терпением, которого у неё самой не было.

Марина откинулась на спинку стула и уставилась в потолок — там было пятно от старого протёка, которое хозяин квартиры обещал закрасить ещё в позапрошлом году. Тоже держалось. Из принципа или просто так.

В пятьдесят лет — она поймала себя на этой мысли и не отпустила — в пятьдесят лет женщина с дочерью, которая уже ушла, со съёмной квартирой в Мытищах и стихами в телефоне — это не тот портрет, за которым идут на сайты знакомств. За чем идут — она не вполне понимала. Наверное, за чем-то лёгким. За лёгким человеком. Который умеет быть лёгким — ненапряжно, без груза, без истории, которая длиннее анкеты. Или идут от одиночества, не за чем-то, а от. Тогда это другой разговор, тогда, может быть, её история сюда и вписывается — как один из вариантов побега от тишины, которая стала слишком громкой.

Ирина позвонила вчера. Спросила, как Марина. Марина сказала: нормально. Ирина сказала: хорошо. Они помолчали секунду и договорились созвониться на выходных. Весь разговор занял четыре минуты. Дочь была счастлива — это ощущалось по голосу, по тому, что голос стал другим: чуть быстрее, чуть рассеянное, как будто где-то на фоне всегда было ещё что-то, куда она хотела вернуться. Это было хорошо. Марина держалась за это знание, как за что-то твёрдое. Ирина счастлива. Это главное. Остальное — вот, остальное — она сидела с пустым полем и остывшим чаем и пыталась объяснить незнакомцам, кто она такая.

Имею ли я право?

Мысль пришла сама, без приглашения, и Марина её не отогнала. Не риторически — по-настоящему, как вопрос, на который должен кто-то ответить. Имею ли я право на что-то новое. В пятьдесят. С этим багажом. С усталостью, которая просачивается в кости к вечеру — не от работы, а от долгого держания себя в руках. С ощущением, что годы не складывались в жизнь, а шли параллельно ей — рядом, почти касаясь.

Никто не ответил. За окном прошла машина, притормозила у подъезда напротив, посветила фарами в темноту двора. Тополь отбросил длинную тень и снова убрал её.

Марина думала о том, что право — странное слово для такого вопроса. Право обычно даётся снаружи: законом, инстанцией, документом с печатью. Она достаточно проработала с документами, чтобы знать, как это устроено. Но здесь некому было выдать разрешение. Ни закон, ни возраст, ни количество пережитого не превращались в справку: *предъявительница сего имеет право надеяться*. Или не имеет. Ответа не было ни в ту, ни в другую сторону — была только тишина и пустое поле.

Она поставила курсор и написала: *Юрист. Мытищи. Люблю стихи.*

Посмотрела.

Не резюме и не признание. Что-то среднее — три факта, которые ничего не объясняли, но были точными. Как координаты: широта, долгота, высота над уровнем моря. Где она находится — понятно. Кто она — это другой вопрос, с другим объёмом.

Фотографию она выбирала недолго. Не потому что знала, какую выбрать, а потому что знала, какую не выбирать. Не ту, где Ирина попросила улыбнуться и она улыбнулась — получилось правдиво в смысле мышц, неправдиво в смысле всего остального. Не ту, где на ней пальто, которое ей нравилось, но в котором она выглядела старше, чем ощущала себя. Была одна фотография — прошлой осенью, на лавочке в парке, Ирина тогда фотографировала что-то другое и поймала Марину случайно: та смотрела куда-то в сторону, не в объектив, с выражением человека, который на секунду забыл, что за ним наблюдают. Честная фотография. Не самая выигрышная, но честная.

Она загрузила её.

Нажала «сохранить».

Сайт выдал сообщение: *Ваша анкета заполнена. Вы можете редактировать её в любое время.* Это было утешительно — «в любое время». Как будто ничего необратимого ещё не произошло. Как будто всё можно было переписать.

Марина закрыла ноутбук и взяла чашку с остывшим чаем. Чай пить не стала — просто подержала в руках. Ладони согрелись быстрее, чем чашка.

* * *

Телефон лежал экраном вниз на подоконнике, рядом с чашкой. Марина не смотрела на него минут двадцать — может, больше. За это время она успела сполоснуть чашку, не допив чай, поставить её обратно на подоконник и подумать о том, что завтра надо купить молоко.

Потом телефон дрогнул.

Один раз. Потом ещё два — быстро, как будто торопился.

Она подождала. Телефон затих. Она взяла его.

На экране было три уведомления с сайта. Маленький конверт с цифрой «3» — точно как рабочая почта, только хуже.

Первое сообщение открылось само, когда она нажала на конверт. *Привет красотка, хочу познакомиться.* Без запятой. Марина смотрела на эти слова секунды три, потом закрыла. Не потому что обиделась — «красотка» не задела, она понимала, что это не комплимент, а просто форма обращения, как «гражданочка» в очереди. Просто не было ничего, на что отвечать.

Второй — мужчина, шестьдесят три года, на фотографии в резиновых сапогах с удочкой. Он написал про дачный участок в Дмитровском районе, про то, что в этом году уродился кабачок, и в конце, почти как послесловие: *А вы умеете борщ варить? Я сам готовить не люблю.* Марина перечитала последнее предложение дважды. Он не спрашивал, умеет ли она варить борщ — он сообщал условие. Объявление о вакансии, в которой борщ стоял на первом месте, а всё остальное — по договорённости. Она закрыла.

Третье было длинным.

Мужчина представился Дмитрием, пятьдесят один год, написал что-то про Достоевского в первом абзаце, во втором — про то, как трудно найти человека, который понимает тебя по-настоящему, в третьем начал про свою бывшую жену и почему она его не понимала. Марина читала внимательно, пока не дошла до слов: *Мне кажется, вы именно такой человек, который сможет услышать всё это.* Она остановилась.

Он писал о себе так, как будто она уже согласилась его слушать. Как будто её анкета — три строчки и боковой снимок в осеннем парке — была чем-то вроде заявки на должность исповедника. Или, может, он просто разослал это всем. Сорока женщинам с пустыми полями «о себе» — чуть разные обращения, одинаковый текст про непонятую душу. Это было бы даже честнее.

Она закрыла и его.

Телефон она убрала в карман халата — не на подоконник, в карман, чтобы не видеть экраном вниз и не думать о том, что там может быть ещё что-то.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.